

А.П. ЧЕРТЕНКО

*Кандидат филологических наук
Европейский университет Виадрина
Франкфурт-на-Одере / Санкт-Петербург*

«ОБРЕЧЕННЫЕ БЫТЬ МЯСОМ». МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЛЮДЯХ КАК ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ И МЕТАФОРА («ЛЕТУЧИЕ СОБАКИ» МАРСЕЛЯ БАЙЕРА И «ДЕТИ АЛИНДАРКИ» АЛЬГЕРДА БАХАРЕВИЧА)

В статье на примере двух текстов двух современных литератур – белорусской и немецкой – исследуются возможности говорения о медицинских экспериментах на людях в ситуации постмодерна. Отмечается, что оба автора предпринимают попытку переосмыслить оппозицию «умолчание об экспериментах vs. их метафоризация», характерную для поствоенных текстов на данную тему, с позиций т.н. «интеллектуального свидетельствования» (Дж. Хартман). Успешно выстраивая соответствующую перспективу, оба автора, однако, оказываются не в силах преодолеть инерцию дискурса, в соответствии с логикой которого страдания реальных или фиктивных жертв превращаются в удобную иллюстрацию авторского тезиса – об амбивалентности модерна у Байера; об ущербности и принципиальном родстве «карикатурного официального патриотизма» и «иронично описанного национализма» (Е. Рускевич) у Бахаревица.

Ключевые слова: медицинские эксперименты на людях, медицинский дискурс, интеллектуальное свидетельствование, метафора, постмодерн.

A.P. CHERTENKO

*PhD of Philology
European University Viadrina
Frankfurt (Oder) / Saint-Petersburg*

«DOOMED TO BE A PIECE OF MEAT». MEDICAL EXPERIMENTS ON HUMANS AS APOPHASIS AND METAPHOR («THE KARNAU TAPES» BY MARCEL BEYER AND «ALINDARKA'S CHILDREN» BY ALHERD BAKHAREVICH)

Taking the example of two texts from two contemporary literatures, namely the German and the Belorussian ones, the paper explores the possibilities and modes of depiction of medical

experiments on humans within the framework of postmodern culture. It is crucial that both authors undertake an attempt at rethinking the opposition «apophysis vs. metaphor» which was typical of post-war texts on this matter and, in doing so, introduce the perspective of «intellectual witnesses» (G. Hartman). Nonetheless, the momentum of the medical discourse which they both tend to reframe remains unchanged. Once again, both authors turn the suffering of real or fictional victims of human experimentation into a handy illustration of their respective talking point. In Beyer's novel, the victims exemplify the ambivalence of modernity. In the novel by Bakharevich, they hypostatize the depravity and the affinity of «ludicrous official patriotism» and «ironically depicted nationalism» (Ye. Ruskevich).

Keywords: medical experiments on humans, medical discourse, intellectual witnessing, metaphor, postmodernity.

К числу культурных (в т.ч. литературных) топосов, практически с момента своего оформления функционирующих как дискурсивные «зоны отчуждения», принадлежит топос медицинских экспериментов на людях. На рубеже XIX-XX вв. этот топос прочно входит в тематический репертуар литературной фантастики и триллера [см.: 31], но также и «высокой» литературы, где он существует в формате имманентного эксцесса культуры Модерна. Маргинальность его подчеркивает как частая локализация в пространствах гетеротопного типа – например, на островах («Остров доктора Моро» Герберта Уэллса) или в подземельях мегаполиса («Двери за семью замками» Эдгара Уоллеса), так и тесная связь – по крайней мере, на первых порах, – с известным в литературе самое позднее начиная с «Франкенштейна» Мэри Шелли типажом безумного ученого-медика (опционально – не лишённого примет гениальности) [см.: 14; 18]. Описанный формат, в свою очередь, возникает на пересечении исторического опыта вивисекций времен Ренессанса и экспериментов над осужденными на смерть времен Просвещения, фикционального дискурса «нового человека» и очевидного прогресса медицины, в особенности хирургии и психоанализа, во второй половине XIX – начале XX в., который повлек за собой значительное расширение арсенала доступных врачу методов медицинского вмешательства в телесную и психическую сферу существования пациента, определяемую в терминах патологического [см.: 10, с. 254-259; 7, с. 255-256]. Обкатанные в фикциональной плоскости, нарративы и легитимационные стратегии, направленные на создание образа «обездушенного пациента» (*der entseelte Patient*), генезис которого подробно прослеживается в одноименной монографии Анны Бергман, на рубеже веков начинают активно – хотя пока точно – использоваться, в частности, в связи испытаниями медицинских препаратов на аборигенах африканских колоний [см.: 15, с. 240-264], а в 1920-1930-е гг. находят уже вполне массовое, к тому же санкционированное государством применение в ряде экспериментов на живых пациентах – в Японии времен Второй мировой войны, СССР 30-40-х гг., США 50-70-х гг. [см.: 28; 6], но прежде всего в Германии времен нацио-

нал-социализма [см., напр.: 29; 26; 22; 20]. Именно в этой последней достаточно подробно – куда подробнее, чем в других странах, обладавших подобным опытом, – разрабатывается теоретически и оформляется практически социал-дарвинистский дискурс «коллективного тела», чье здоровье мыслится не как продукт лечения отдельных «больных» (Гиппократова медицина), а как результат их истребления на манер вредных бактерий – и, соответственно, оправдывает преступления против стигматизированных индивидов (в частности, в нацистских концлагерях) [см.: 25]. В послевоенной литературе – в немецко(язычно)й, но также и в российской, белорусской или украинской – соответствующий опыт, часто функционирующий как невидимый фон говорения об отношениях медицины и человека, этике медицинского эксперимента и инструментализации пациента как «тела», «материала», «мяса», тем не менее так и не образовал литературного топоса, сравнимого по популярности с близкими ему топосами пыток или концлагерных дисциплинарных практик [см.: 27, с. 437–489] (что, разумеется, не означает, будто указанный опыт никогда не становился объектом литературного изображения [см.: 32]). Типичная фигура умолчания, которая зачастую стоит за подобными лакунами и, эксплицитно легитимируя отсутствие упоминаний о врачебном произволе чувствами читателя, имплицитно лишает голоса жертв этого произвола, показательно озвучивается в одном из первых текстов, тематизирующих жизнь в советских концлагерях – «В когтях ГПУ» («У капцорох ГПУ») белоруса Франтишека Олехновича: «Есть целый ряд подобных забав [т.е. пыток. – А.Ч.], но перо мое не может описывать их, не задевая морального чувства читателя. Поэтому я лучше о них умолчу» [2, с. 196]. В тех же сравнительно немногочисленных текстах, где медицинские эксперименты на людях времен национал-социализма несмотря ни на что становятся предметом развернутой тематизации, изображение и осмысление экстремальных практик обесчеловечивания зачастую подчиняется тенденции «метафоризации того, что происходило в санчастях», а медицинские эксцессы превращаются в «чистые перифразы», очаровывающие авторов «абстракцией конкретного» и именно по этой причине охотно используемые в качестве удобного доказательства их собственных концепций [35, с. 297–299].

В описанном контексте особенный интерес представляют тексты современных писателей (т.е. созданные после 1989–1991 гг.), в которых предпринимается попытка переосмыслить оппозицию «умолчание об экспериментах vs. их метафоризация» с позиций т.н. «интеллектуального свидетельствования». Последнее, по мысли творца термина Джеффри Хартмана, является по преимуществу прерогативой тех, кто не являлся непосредственным свидетелем, более того – зачастую не имеет к непосредственным свидетелям прямого доступа (и в этом смысле является классическим носителем того, что Марианна Хирш обозначает как «постпамять» [см.: 23]). Извлекая на свет Божий те или

иные замолчанные события прошлого, «интеллектуальный свидетель», утверждает Хартман, в то же время последовательно сопротивляется искушению «сверхидентификации с жертвами», «мистическому единению с мертвыми», взамен пытаясь «идентифицироваться с жертвами не более, чем рассказчик некоей истории – с ее персонажами» [21, с. 42]. К числу подобных текстов принадлежат, в частности, роман Марселя Байера «Летучие собаки» (1995) и роман Альгерда Бахаревича «Дети Алиндарки» (2014), обыгрывающие модель «интеллектуального свидетельствования» о медицинских преступлениях (или: о преступлениях, осуществленных средствами медицины) в координатах постмодернистской поэтики и с разных сторон выявляющие контекст ее использования, а также связанные с ней преимущества и ограничения.

* * *

Разумеется, между двумя названными текстами существуют очевидные культурные и исторически различия. Байер обращается с темой нацистских экспериментов на людях как с извлекаемым из-под спуда «собственным», Бахаревич – как с цитируемым «чужим». Байер опирается с одной стороны, на обширные архивные материалы, а с другой – на техники работы с ними, характерные для текстов Александра Клюге, французских экзистенциалистов, в т.ч. Мишеля Лейриси, и др. [см.: 38; 11]. Бахаревич отталкивается от немецкой традиции романов о маргинальных гениях или псевдогениях, а также реактивирует огромное количество текстов белорусской и мировой литературы, от поэмы «Плохо будет» («Кепска будзе») Франтишека Богушевича, герой которой Алиндарка дал роману название, и сказочных Гензеля и Гретель братьев Grimm, послуживших прототипами Си (Лёси) и Летчика [см.: 8], до произведений соцреалиста Шамякина, песен «Песняров» и прозы Владимира Набокова. Байер сопоставляет события 1933-1945 гг. с реалиями т.н. «Берлинской республики», показывая их парадоксальную преемственность. Бахаревич обнажает опосредованные связи между медицинскими практиками, лишь напоминающими нацистские, и реалиями лукашенковской Беларуси и т.д. Несмотря на это, оба писателя, говоря на темы, связанные с медициной и медицинскими экспериментами, задействуют весьма схожий арсенал топик, мотивики, типажей и нарративных моделей.

Близость используемых обоими авторами средств художественной выразительности, а следовательно, и сходство диктующей их выбор концепции медицины – прослеживается уже на уровне атрибутов и пространств, связываемых с медицинской профессией. Протагонист романа Байера, акустик Герман Карнау, который в ходе составления глобальной карты человеческих голосов переходит от чистой фиксации звуков к хирургическому изменению речевого аппарата и операциям на голосовых связках, перебирает-

ся из звукоизолированных темных подвалов и чердаков в освещенные холодным неоновым светом и покрытые блестящей кафельной плиткой пространства операционных, по-видимому, также расположенные в лагерных, а затем музейных сутеренах. Одновременно с этим перемещением использовавшиеся им прежде магнитофоны и иная звукозаписывающая техника дополняются блестящими хирургическими инструментами, описание которых в массовой литературе нередко предвещает акты насилия. (В своей «Малой медицинской энциклопедии» Бахаревиц называет хирургический инструментарий, «все эти пилочки, ножки, топорики, щипчики», одним из оснований зачисления хирургов «в тот же профсоюз, что и палачей с мясниками», производимого «народным сознанием» [4, с. 265].)

Семантика насилия, ассоциируемая с медицинской атрибутикой, артикулируется в романе двойко. В сценах, излагаемых с точки зрения самого Карнау (1940-е гг.) и представляющих собою максимально отстраненный протокол экспериментальных операций, в фокусе внимания – в полном соответствии с традицией, заложенной еще во второй половине XIX в. и опирающейся на риторiku отчетов о вскрытии и вивисекции [см.: 41, с. 119-126], – оказываются прежде всего необходимые хирургические инструменты (зажигалка, скальпель, акустические сенсоры и т.д.), а также область их применения. Причисляемое этими инструментами страдание при этом выносится за скобки: «...на гладком полу виднеется блестящее пятно: кровь или моча?» [13, с. 160]. Из перспективы следственной комиссии, прибывшей в дрезденский Музей гигиены в начале 1990-х гг., яркий «неоновый свет» операционной, обустроенной в его подвалах Карнау сотоварищи, напротив, делает видимым не только операционный стол «со всеми необходимыми для оперативного вмешательства инструментами», но и свежие «пятна крови на ремнях» [13, с. 225], как бы материализующие заключенную в полированном стерильном металле угрозу.

В аналогичном по сути вещном мире обитает и один из двух протагонистов Бахаревица – безымянный Доктор, который где-то на Витебщине медицинским образом пытается отучить юных белорусов от «Мовы». Осматривая пациентов, Доктор вставляет им в рот металлические распорки, от которых те «кричат и что-то мычат» [5, с. 193], а в особо запущенных случаях, если верить некоторым косвенным указаниям, прибегает и к другим «холодным железным игрушкам» [5, с. 242], в частности удаляет при помощи столь же угрожающе поблескивающих «ножниц» подъязычную «косточку», якобы мешающую говорить по-русски чисто. Дополнением к хирургическим инструментам в «Детях Алиндарки» служат разноцветные таблетки – «кисловатые, одурманивающие шарики, пилюли, от которых в голову лезет разная ерунда и становится тесно в груди» [5, с. 8] и которые точно так же, хотя и иным способом, «обездушивают» пациентов и всецело подчиняют их воле

врача, более того – оставляют свои следы в теле на манер хирургических шрамов: «Он и правда мог сидеть и не моргать – совсем, словно его глаза были на распорках» [5, с. 213].

Тесное сращение медицины и насилия, считываемое с фигурирующих в обоих романах описаний медицинской атрибутики и пространств врачевания, подчеркивает и локализация врачебной активности обоих протагонистов-медиков в лагере – этом изобретении XX в., где, по мысли Кати Забиш, «человеческий материал использовался для проведения окончательных экспериментов», а «чрезвычайное положение стало правилом» [34, с. 646]. Байеровский Карнау действует в безымянном концентрационном лагере, чей синтетический образ был, по всей видимости, срисован с нескольких реальных концлагерей. Бахаревичев Доктор ведет неутомимую борьбу с Мовой в расположенном в лесу концлагере «Солнышко» [5, с. 96], также обозначаемом как «центр орфоэпической ортодонтии» или «лингвохирургии» [5, с. 145], – месте, в семантике которого скрещиваются черты нацистского концлагеря, советских лагерей в системе ГУЛАГ и пионерлагеря с его вожатыми и нещадными распорядками, усугубляющими медицинское насилие насилием институциональным, государственным.

Сопряжение медицины как «совокупности наук и практической деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней», с насилием, которое мыслится врачами как неизбежное зло на пути к высокой цели, однако в действительности представляет собой не что иное, как пытку – «сильные физические страдания, доставляемые кем-либо», в свою очередь, с необходимостью влечет за собой переопределение роли и сущности фигуры отдельного пациента в духе (квази)нацистского императива «коллективного здоровья». В оптике байеровского акустика-хирурга жертвы экспериментов в отмеченной выше объективирующей манере именуется «пациентами», «подопытными» (*Vorgeführte*), «человеческим материалом», иногда просто «тварями» (*Kreaturen*) и, как правило, редуцируются до отдельных частей тела, органов, тканей или сред, которые упоминаются лишь постольку, поскольку они интересуют врача (экспериментатора) или мешают ему в его преобразовательной деятельности – как, например, «упрямая собачья шерсть» [13, с.60] на шее испытуемого или пятно то-ли-крови-то-ли-мочи на полу операционной. Бахаревичев Доктор тоже предпочитает обозначать своих подопечных как «существ» [5, с. 94], «тех» [5, с. 96], «животных» [5, с. 58], «инвалидов» [5, с. 91], которым незачем знать, в чем состоит их заболевание и от чего их лечат. Душу они могут обрести лишь благодаря искусству медика, а без этого искусства остаются куском неодушевленного «мяса»: «...никто не додумается, что начинать надо с косточки. Вишневой косточки во рту – лишней косточки,

которую они не могут выплунуть и потому обречены болеть и страдать, обречены быть мясом. Просто мясом» [5, с. 90].

Катастрофическое снижение ценности пациентов, попадающих в руки к всесильному врачу, определяет рассмотрение их в координатах животной метафоры. В «Летучих собаках» с животным началом ассоциируются обе стороны медицинских манипуляций; при этом себе как медику Карнау отводит роль «животного, свободно парящего в воздухе», а своим пациентам – роль «пресмыкающихся» [13, с. 149], глубинную сущность которых наиболее адекватно выражает «широкая палитра вскриков, хрипов и горлового рокота» [13, с. 114-115] и которые хотя бы по этой причине, «собственно говоря», «не являются людьми» [13, с. 106]. (Уже в следующем предложении имплицитный смысл приведенной дифференциации буквально материализуется в образе двух босых ног неназванного «пациента», которые словно «приклеились» к холодному полу операционной [13, с. 153]). В «Детях Алиндарки», где, как и в «Летучих собаках», персонажи соотносятся с двумя группами животных, находящихся на разных этажах ценностной иерархии, животная метафорика, напротив, применяется исключительно к пациентам, тем самым функционируя как маркер границы между «больными» и «здоровыми». По одну сторону баррикад при этом оказываются птицы – существа, которых, как байеровских «свободно парящих животных», отличает прежде всего способность к полету. По другую – «неповоротливые безмозглые млекопитающие», «кабаны, коровы и сучки» [5, с. 220], пребывающие в рабстве у «косточки» и потому не способные звучать «музыкой, Бог весть зачем даденной вам», – «музыкой Языка» [5, с. 91].

Низведение «человеческого материала» до животных, к тому же низшего качества, в свою очередь, существенно расширяет диапазон того, что с этими «животными» дозволено делать экспериментатору, препоручая ему полномочия вивисектора. В романе Байера Карнау реализует эти полномочия, препарировав голосовые связки пациентов и тем самым обрекая их на долгую и мучительную смерть, а также всеми способами «извлекая» (*hervorkitzeln*) из глоток подопытных требуемые для «карты голосов» звуки, в частности, как значится в отчете дрезденской комиссии, вводит «зонды в глотку и кровеносные сосуды с целью фиксации различных не подлежащих реконструкции телесных шумов» [13, с. 222]. В романе Бахаревица Доктор, помимо экспериментов с детьми, в рамках тренинга «Чистая речь» участвует в «экспериментах с высоким напряжением» [5, с. 144] на безропотных и бессловесных, словно звери, колхозниках, негласно занимается скупкой пациентов «для опытов» [5, с. 87], а также экспериментирует с таблетками, формируя из жертв подобных экспериментов нечто вроде партизанского отряда. Подвергаясь столь бесчеловечному обращению, пациенты и Карнау, и Доктора из «Детей Алиндарки» вынужденно «живут жизнью животных» [13, с. 170]: непроизвольно выделяют мочу, «ссут под себя и заикаются» [5, с. 61], издают

нечленораздельные звуки, утопают в собственных экскрементах, умирают или, как одаренный математик Толик, закапывают себя землю, символически инсценируя собственную (духовную) смерть.

Утрата прав пациентом – «мясом» закономерно компенсируется их присвоением со стороны врача. Подвергая беззащитные жертвы самым жестоким издевательствам, врачи фактически запускают имманентный пытке механизм перераспределения властных полномочий и тем самым добиваются «власти над другим, переживаемой как тотальная», а с ней и «исчезновения воображаемого пространства сопротивления» [27, с. 25]. Образ всесильного врача и Байер, и Бахаревиц конструируют с очевидной опорой на типаж «маргинального гения», канонизированный в «Парфюмере» Патрика Зюскинда и с некоторыми вариациями растиражированный в целом ряде позднейших текстов («Брат сна» Роберта Шнайдера, «Декоратор» Тургрима Эггена и т.д.) [см.: 33]. Как и лишенный собственного запаха Зюскиндов Гренуй, Карнау Байера и Доктор Бахаревица представляют собою «людей без свойств», о которых «нечего сказать» [13, с. 16] и которые, наполненные лишь «глухим эхом пустоты» [13, с. 17], именно потому с легкостью мимикрируют под окружающую среду. Так, Карнау без малого 50 лет успешно скрывает проводимые им бесчеловечные эксперименты, а Доктор с легкостью выучивает ненавистную Мову и даже разговаривает на ней чище, чем ее носители.

Как и Гренуй, оба врача всерьез претендуют на гениальность (Карнау – еще и как акустик) и мнят себя «серыми кардиналами» [5, с. 220], даже уполномоченными Христа [5, с. 225]. (Впрочем, в отличие от зюскиндовского персонажа, делают они это лишь в рамках собственных нарративов, как «ненадежные свидетели» (Уэйн Бут), которые, не будучи профессиональными медиками, охотно преувеличивают свои таланты и компетенции и используют дискурс гениальности для оправдания или ретуширования совершенных ими преступлений [см.: 16].)

Как и Гренуй, Карнау и Зюскинд, говоря в терминологии Вольфганга Соффского, применяют насилие не в формате Tortur (т.е. превращенного в самоцель причинения страданий другому), а в формате Folter – т.е. как «способ достижения некоей [отдаленной] цели» [39, с. 261]. И в том, и в другом случае – возможно, в силу цитирования Бахаревицем байеровских исходников – эта цель соотносится с метафизически интерпретированным голосом. В случае с Карнау речь идет не больше и не меньше как о проекте духовного преображения человечества через евгеническое улучшение, по сути, синонимичного душе голоса: «...мы должны проникнуть в нутро человека, а нутро это, как известно, проявляется через голос... мы должны прощупать нутро человека, подробнейшим образом изучив его голос. [...] Менять нутро, изменяя голос. Выравнивать их, а в крайних случаях не останавливаться и перед медицинским вмешательством, перед модификацией артикуляционного

аппарата» [13, с. 139]. В случае с Доктором – об эстетическом и этическом преображении не названной, но подразумеваемой Республики Беларусь, в которой «исправить» «повсеместную несправедливость» «могут только доктора» [5, с. 58] – в частности при помощи распорок и/или хирургического устранения «косточки»: «Доктор мечтал о том времени, когда дети вырастут. И страна заговорит наконец чистым голосом... Это будет возврат туда, где ее место. В империи чистого голоса – где каждый звук выразителен и обладает смыслом» [5, с. 222].

Как и Гренуй, оба протагониста-врача видят окружающий мир сквозь призму своей мономании, подчиняя все его проявления собственной идее фикс. Так, в глазах Карнау человеческое тело постепенно превращается во вместилище для голоса – этого «ранимейшего из феноменов», существующего, как кажется, лишь для того, чтобы быть зафиксированным при помощи грамзаписи – «ранящей процедуры» [13, с. 24], которая сначала метафорически, а затем и буквально отождествляется с хирургическим вмешательством. (В одном из снов, явно обыгрывающем рилькевское эссе «Прзвук» («Urgeräusch», 1919), байеровский акустик даже представляет свой череп грампластинкой, которая начинает звучать только тогда, когда к черепному шву приставляют похожую на хирургический скальпель иглу граммофона.) Доктору же везде мерещится пресловутая косточка, чье утонченное коварство проявляется именно и только в Беларуси – стране, где в воздухе якобы разлит «химический элемент, вынуждающий опухоль расти с такой скоростью, что, если своевременно за нее не взятыся, потом без хирургии уже не обойтись» [5, с. 221], и где поэтому уместно говорить о «косточке в... головах» [5, с. 194].

Наконец, как и главный герой романа Зюскинда, протагонисты Байера и Бахаревича в финале тоже терпят крах – впрочем, в отличие от Гренуя, не по причине собственной избыточности, а из-за изначальной ошибки в расчетах, связанной, в свою очередь, с их сугубым дилентатизмом. В «Летучих собаках» провал экспериментов сопряжен с недостаточным пониманием Карнау – акустиком по профессии! – слуховых возможностей человека и животного (он путает летучих мышей, способных слышать ультразвук, и летучих собак, у которых такой способности нет), а также с игнорированием акустического спектра человеческого голоса. В итоге, посредством хирургических манипуляций превратив своих подопечных в некое подобие летучих мышей, он делает их уязвимыми для собственного голоса и обрекает на медленную и мучительную смерть (в конце концов пациентов сгонит в сарай и сожжет дотла специальная команда СС). Крайним следствием ошибки, в свою очередь, становится исчезновение «карты голосов»: «Карта голосов распадается прямо у меня в руках, едва начерченные линии ведут в никуда; впрочем, они всегда вели в никуда; и вот карта уже снова стала белой и пустой...» [13, с. 179]. В «Детях Алиндарки» ошибочно допущение о «косточке». Претворяя

его в жизнь, Доктор получает на выходе отнюдь не гармоничных носителей чистого голоса, а либо «безмозглых, немых, беспамятных скотов» с «правильным, как у робота, языком» [5, с. 203], либо исполнительных «не совсем людей» [5, с. 222]. Олицетворением последних является изуродованный таблетками рядовой Бохан – словно сошедшее со страниц романа Мэри Шелли чудовище с покрытым шерстью лицом, зубами-иголками и заросшими кожей глазами, говорящее односложно, а то и вовсе, подобно пациентам Карнау, издающее бессмысленное «кряхтение» [5, с. 100]. На то, что косточка является не более чем фантазмом медика-протагониста, указывает и история с Толиком – пациентом Доктора, который, проникнувшись идеей исцеления, засовывает себе в рот кулак, но так и не находит никакой косточки, в конце концов погибая от удущья [5, с. 196].

Помимо перечисленных кардинальных схождений, продиктованных использованием одного и того же претекста, между главными героями – медиками из романов Байера и Бахаревича существует и целый ряд локальных сходств, являющиеся, как я склонен предполагать, результатом сознательного цитирования белорусским автором автора немецкого. Так, и Карнау, и Доктор, по собственному утверждению, обладают абсолютным слухом и именно потому столь непримиримо относятся к огрехам в артикуляции, затеняющим природную «музыку». И тот, и другой начинают свою медицинскую карьеру с тайных экспериментов в лаборатории: первый с рассечения свиных и бычьих черепов, второй – с экспериментов с таблетками, продуктом которых, собственно, и является рядовой Бохан. И тот, и другой воспринимают себя как адептов «гигиены»: Карнау начинает свою медицинскую карьеру с визита в Музей гигиены, где как раз выставляется знаменитая фигура «стеклянного человека», а завершает ее – по крайней мере, в пределах романного нарратива – в подвале того же музея; Доктор неоднократно определяет свою миссию как распространение максимально широко понятой «языковой гигиены» [5, с. 221]. И тот, и другой делают ставку на «дрессировку» [5, с. 144], «упражнения» (Übungen [13, с. 149]), которым они приписывают формативную силу. И тот, и другой рассматривают хирургию как крайнюю – и наиболее эффективную – форму такой «дрессировки», медицины вообще [см.: 24, с. 133-136; 37, с. 17], – форму, которая «взваливает на... [медика] функции бога» [4, с. 265], или, в терминах Карнау, делает его «тем, кто ведет штихель» [13, с. 94], существом, которое, подобно библейскому Яхве, способно формировать «людей, животных, дома» при помощи «мастерской работы пальцев» [13, с. 148]. И тот, и другой реализуют дарованную им хирургией власть в тесном сотрудничестве с государственным аппаратом: союзником Карнау выступает всемогущий министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Гёббельс; усилия Доктора по насаждению Языка и истреблению Мовы полностью совпадают с чаяниями представителей белорусского госаппарата – и имен-

но по этой причине получают со стороны последнего полную и всестороннюю поддержку.

* * *

На пересечении образов бессильного пациента и всемогущего врача-мономана в обоих романах конструируется образ инвертированной медицины, которая отчетливо «пахнет кровью» [4, с. 265]. И в «Летучих собаках», и в «Детях Алиндарки» представители этой медицины, вместо того чтобы «устранять причины болезни» и таким образом «спасать его [пациента. – А.Ч.] от боли» [44, с. 37], наоборот, направляют свои усилия на то, чтобы причинить ему побольше страданий или, по крайней мере, не видят в этих страданиях никакой проблемы. Вместо того чтобы «вводить в социальный дискурс априори приватный опыт [боли]» [36, с. 15], наоборот, редуцируют артикулированную речь до неартикулированного крика или механического говорения зомби, исключаяющего внятное свидетельство о пережитом. Вместо того чтобы восстанавливать целостность тела, наоборот, калечат его и покрывают шрамами или иными следами, служащими своеобразным «автографом» того, кто наносит эти травмы. Вместо того чтобы облегчать телесную боль, наоборот, редуцируют его до беззащитного «тела, сгустка дрожащей материи» [39, с. 261], «мяса», иными словами, до асоциального животного, а то и до неодушевленного предмета.

Соответствие такого рода медицины – одновременно «оргии ярости, унижения, уничтожения человека» [29, с. 7] и «правила, предписания, бухгалтерского менталитета, утверждения иерархии власти» [30, с. 157] – реальным практикам времен национал-социализма представляется вполне очевидным. Означенные практики присутствуют в «Летучих собаках» на правах эксплицитного референта, а в романе Бахареви́ча – на правах (предположительно) цитаты из «Летучих собак» (или из дискурса, в котором укоренен роман Байера), чью германскую подоплеку подчеркивает ряд недвусмысленных аллюзий: атлас автомобильных дорог Европы 1939 г., которым пользуются сбежавшие из лагеря девочка и мальчик, Лёся и Летчик; упоминание о том, что попадающаяся на пути Лёси и Летчика бабушка некогда была остарбайтером в Бремене; образ немца – знатока белорусского языка герра Гюнше, настаивающего на том, что именно белорусский акцент (а не язык) составляет своеобразие белорусской нации, и тем самым де факто подтверждающего гипотезу доктора о «косточке», и т.д. Тем не менее было бы ошибкой полагать, будто «Летучие собаки» и «Дети Алиндарки» представляют собою художественную полемику именно с этой исторически конкретной медицинской парадигмой. Напротив, и Байер, и Бахареви́ч последовательно проводят мысль об универсальной природе описываемых ими практик, – если угодно, о том, что «инвертированная медицина» концлаге-

рей, немецких и (пост)советских, в действительности является проявленной «исходной», а медицинские преступления – «структурным признаком экспериментальных исследований в целом, а не порождением гитлеровского режима», частью «традиции, берущей свое начало в характерном для Ренессанса использовании трупов казненных и экспериментах на людях эпохи Просвещения и продолжающейся в естественнонаучных исследованиях после 1945 г.» [15, с. 270-271] «Врач для меня – это кто-то другой... – рассуждает упомянутая выше Лёся. – Если он настоящий, он не спасает...» [5, с. 35].

О придании инвертированной медицине нормативного статуса свидетельствуют несколько обстоятельств. Во-первых, это многочисленные указания на континуальность медицинских экспериментов – до и после 1945 г. в «Летучих собаках»; до и после неудач и первых смертей в лагере, а также в рамках подпольного тренинга «Чистая речь», существовавшего еще до основания лагеря и уже опиравшегося на развитую инфраструктуру Бог знает какой давности – в «Детях Алиндарки». Во-вторых – отсылки к смычным с магией (квази) медицинским практикам из более или менее отдаленных эпох, в частности, к френологии Йозефа Галля в романе Байера или к средневековым пыткам в романе Бахаревича (о наказании воспитанников лагеря так и говорят: «сделать средневековье»). В-третьих, последовательное исключение любых коллегияльных альтернатив врачам-экспериментаторам, акцентирующее центральное место последних. В «Летучих собаках», кроме самого Карнау, медицину представляют мало отличимые от него лагерные коновалы вроде доктора Штумпфеккера (Штумпфеггера), прославившегося бессмысленной пересадкой костных фрагментов пациентам госпиталя СС и не менее бессмысленным дроблением ног детям в Равенсбрюке, малообразованные адепты евгеники вроде доктора Зиверса и мнимые гуманисты на манер доктора Хеллбрандта, отправляющие на неминуемые муки и почти неминуемую смерть целые батальоны глухонемых. В «Детях Алиндарки», помимо Доктора, медицинское сословие состоит, с одной стороны, из инструкторов «Чистой речи», принимавших самое непосредственное участие в пытках незащитных колхозников, а с другой – из косноязычных министерских функционеров, с парадоксальным энтузиазмом поддерживающих евгенический проект протагониста из романа Бахаревича. (Сюда же следует причислить и школьного психолога Татьяну Эдуардовну, выступающую своеобразным женским и, очевидно, именно потому более далеким от практической, экспериментальной медицины – двойником Доктора).

В нарративной плоскости описанная расстановка сил в паре «пациент – врач» («жертва (медицинских) экспериментов – экспериментатор»), реализуется в специфической – и также постулируемой как нормативная – ситуации свидетельствования. О медицине и связанных с ней преступлениях

в ее рамках рассказывают почти сплошь «ненадежные свидетели» из числа преступников, а перспектива жертв, чье «стремление... к моральному свидетельствованию», по мнению Алейды Ассман, находится к отношениям зеркальной симметрии к «стремлению преступника к забвению» [12, с. 46], в значительной степени (Бахаревиц), а то и полностью (Байер) выносятся за скобки по причине их физического (Байер) или психического (Бахаревиц) устранения и/или сознательной фальсификации их свидетельств врачами-экспериментаторами [см.: 39]. В «Летучих собаках» подобная тактика реализуется двояко. С одной стороны, преступник и «я» – повествователь Карнау узурпирует все без исключения нарративные голоса, включая голос, по видимому, убитой им дочери Гёббельса Хельги, чей дневник – единственное не принадлежащее Карнау свидетельство в романе – в риторическом и структурном плане поразительно напоминает заметки акустика-протагониста и к тому же странным образом выстроен так, что не дает заподозрить его в преступлении. С другой, безальтернативный повествователь последовательно ретуширует масштабы и жестокость инициированных им лагерных экспериментов – как через снабжение конкретных топосов и действий расплывчатыми метафизическими подтекстами (см. пассажи, посвященные голосу), так и посредством отмеченного выше объективированного, «научного» изложения, редуцирующего пациента до «человеческого материала».

В «Детях Алиндарки» мы имеем дело с еще более интересной нарративной конструкцией. Здесь повествовательная линия всевидящего рассказчика, транслирующего мысли и чувства Доктора, внешне уравнивается благодаря введению двух нарративов, репрезентирующих позицию условных или безусловных жертв – безымянного Отца, который расплачивается за преданность Мове женой (ее, как неоднократно повторяют различные персонажи романа, «выгнали из мовы» [5, с. 249]), карьерой и детьми, а также некоторых узников лагеря, в первую очередь все тех же детей Отца Лёси и Летчика, погибшего Толика и некоторых других. Одним из таких нарративов является дневник Отца, исполняющий в композиции романа Бахаревица ту же функцию, что и дневник Хельги Гёббельс в романе Байера, однако, в отличие от него, транслирующий идеологемы, противоположные тем, что отстаивает Доктор. Если для Доктора белорусская Мова – не более чем «каша» [5, с. 92], первопричина болезни целого народа, «демон» [5, с. 138], «алкоголический жаргон» [5, с. 115], «лепет» [5, с. 142], а «великий» русский Язык, напротив, квинтэссенция всего правильного, чистого, гармоничного и здорового [5, с. 111], медиум «чистого голоса» и «музыки» [5, с. 142], то для Отца Мова – единственная «правильная» [5, с. 139], пресловутый «глагол», способный обращать оппонентов в иную веру («Он вгонял в нее [Татьяну Эдуардовну] свой язык – и она становилась мовой», [5, с. 117]), а Язык – «проклятый Богом» «язык интриг и страха, язык унижения и насилия, язык неправед-

ного суда... где осуждают только невиновных» [5, с. 77], «ублюдочный жаргон» [5, с. 119], «ядовитый Язык» [5, с. 111], не сулящий тем, кто на нем не говорит, ничего хорошего. Второй нарратив составляют экскурсии все того же всевидящего повествователя в сознание Отца, Лёси и Летчика, обнаруживающие аналогичную поляризацию.

При ближайшем рассмотрении, однако, оба альтернативных нарратива оказываются весьма далеки от заповедей аутентичности. Сомнительным представляется прежде всего образ Летчика – брата Лёси, который появляется в квартире Отца в тот момент, когда комиссия по опеке отбирает у него дочь, и, по-видимому, является плодом воображения последнего, вылепленным из некогда сложенного на балконе пакета глины (в финале романа Летчик показательно распревращается в глиняный бюст [5, с. 245]). Из той же материи, насколько можно судить, соткана и Лёся (при рождении – Сиа, египетская богиня ума и мудрости): появившись на свет как продукт отцовской фантазии, как «девочка-мова», «которую он придумал и потом сделал» [5, с. 75], она проживает фиктивную биографию («Он лежал и придумывал Лёсе будущее. ...перед ним возник образ большого города, где-то за границей», [5, с. 33]) в окружении фиктивных людей, которых «он [Отец] выдумал сам» [5, с. 32]. Игровой условностью отмечен и дневник Отца, о котором впервые упоминается в разговоре взрослой уже Лёси с зарубежным женихом, тоже существующим исключительно в отцовском воображении, как один из «голосов из будущего» [5, с. 33]. Плодя персонажа за персонажем, выдумывая им биографии и перипетии, присваивая себе их голоса и формируя из этих вымышленных фигур армию ствоих сторонников, Отец, как и Доктор, фактически позиционирует себя как инстанцию власти, только не медицинской, а писательской, литературной: «Он умел писать. Если что – он сказал бы, что пишет роман» [5, с. 149].

С развитием сюжета этого романа – и сюжета «Детей Алиндарки» – обнаруживается, что объединяет Отца и Доктора куда больше, чем разделяет. Как и Доктор, Отец мыслит противостояние Мовы и Языка в координатах физиологии, в частности, определяет неестественность «языка» через сопротивление «генетически не отлаженного» артикуляционного аппарата «грубым нотам» [5, с. 38]. Как и Доктор, боготворит «чистый голос» [5, с. 78] и устами Лёси высказывается в пользу реальности изобретенной Доктором «косточки» во рту, разве что присваивая ей при этом противоположные по знаку смыслы. Наконец, как и Доктор, рассматривает хирургию («небольшая операция на головном мозге», «подрезание подъязычной косточки» [5, с. 43]) как наиболее эффективное средство в борьбе с Мовой, опять-таки взятое с противоположным знаком.

Словно чтобы подчеркнуть сущностное единство Доктора и Отца – как маскулинных преобразователей мира, главное различие между которыми

состоит в том, что одному из них удалось приспособиться к конъюнктуре, а второму нет, или, если угодно, в том, что один реализует свои властные претензии через медицину, а второй – через сущностно во многом близкое ей писательство [см.: 19], – Бахаревиц выстраивает ряд ситуаций, где каждый из протагонистов без видимых трудностей перенимает роль собственного антипода. Так, однажды, надев вышиванку, Доктор отправляется в кафе, где традиционно заседает национально сознательная публика, и, разговаривая с ними на Мове, даже ощущает, будто у него под языком пульсирует «маленькая точка» [5, с. 226], а на вопрос о детях неожиданно называет себя отцом Легчика и Лёси. В свою очередь отец, очарованный «хрустальностью» голоса Татьяны Эдуардовны, занимается с ней сексом, игнорируя ее принадлежность к противоположному идеологическому лагерю... Получаемое на выходе единомыслие голосов, лишь внешне говорящих по-разному и о разном, в действительности же существующих в пределах одного и того же диспозитива, вопреки первому впечатлению, оказывается весьма близко к нарративной модели свидетельствования, используемой в «Летучих собаках». Различие состоит лишь в том, что если в романе Байера «тем, кто ведет штихель», является отдельный медик-преступник, пусть и олицетворяющий собою представление поколения 1980-1990-х гг. о медицине в целом, то в «Детях Алиндарки» следует говорить скорее о неостановимом разрастании медицинского дискурса в его тесной связи с дискурсом власти, или, если воспользоваться термином Анны Бергман, о «хирургизации представлений об обществе и человеке» [15, с. 275] – практике, которая, как настаивает исследовательница, зародилась именно в Германии времен национал-социализма...

* * *

Превращение медицинских экспериментов и кульминирующей в них медицинской парадигмы в нарративную «зону культурного отчуждения», собственно, и определяет потребность в интеллектуальном свидетельствовании, которое позволило бы обойти запрет на наррацию и если не озвучить голоса жертв (что во многих случаях представляется невыполнимым), то по крайней мере указать на их наличие, поставить под вопрос перспективу медицины-как-власти и сделать видимыми совершенные медицинскими инстанциями преступления. В двух анализируемых романах эта потребность реализуется при помощи различных стратегий. Марсель Байер выстраивает в «Летучих собаках» квазидетективную модель расследования, апеллирующую к центральной для «ненадежного повествования» фигуре «активного читателя-детektива, который постоянно ставит под вопрос получаемую им информацию и проверяет ее на достоверность», в конечном счете реконструируя «иную версию рассказываемой истории» и через такую реконструкцию обретая статус «интеллектуального свидетеля» [16, с. 36]. Речь, по сути,

идет о рецептивной модели, образцово обыгранной в романе Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда», где «я»-повествователь, подобно байеровскому Карнау, незаметно вручает читателю все новые ключи к собственной виновности [16, с. 37], – с той лишь разницей, что читатель Кристи может ограничиться восстановлением «подлинной» канвы произошедшего, тогда как для байеровского реципиента понимание того, «как все было на самом деле», является лишь средством, позволяющим очертить этическое измерение случившегося. Так, сталкивая противоречащие друг другу признания и улики (прежде всего сделанные повествователем грамофонные записи военных лет) и тем самым давая своему читателю возможность установить вину Карнау в убийстве Хельги Гёббельс, которая не была объектом медицинского экспериментирования, Байер, по сути, подчеркивает недостижимость аналогичной реконструкции для жертв преступных вивисекций – и превращает отсутствие морального свидетельствования с их стороны в обвинительный акт против акустика-хирурга.

Альгерд Бахаревич в «Детях Алиндарки» очуждает и, очуждая, нейтрализует борьбу между Языком и Мовой, в которой сторонники Языка активно практикуют, а сторонники Мовы в пределе хотели бы практиковать хирургическую лоботомию оппонентов. «Снятие» противоречия происходит за счет введения третьей (тоже, разумеется, безусловной) перспективы – перспективы эмиграции, связанной в романе с фигурой матери Лёси, которая вместе с дочерью переезжает в Германию (а в биографической проекции – с положением самого Бахаревича, написавшего значительную часть «Детей Алиндарки» в Гамбурге). С точки зрения основоположного для этой перспективы прагматизма Лёся вполне может изучать объявленную «мертвой» [5, с. 250] Мову и параллельно «подучивать» [5, с. 250] Язык, не имея при этом в виду его «музыки» или «чистоты голоса». Проект же хирургической евгеники и вовсе представляется в подобных координатах верхом бессмыслицы: «Какая еще косточка? Не говори всякую чушь, Сиа. Мама посмотрела на нее так грустно, что Лёся решила больше ничего не говорить...» [5, с. 251]. Именно языковая (и – идеологическая, мировоззренческая) плюральность, основоположная, помимо ситуации переселения за границу, для парадигмы постмодернизма, к которой часто относят белорусского писателя [см.: 3], становится в романе условием «интеллектуального свидетельствования», позволяющим взглянуть на потенциально лечащих «больных» и потенциально «больных» врачей как на реальных и возможных жертв националистической стигматизации, реализующей себя через «хирургизацию представлений об обществе и человеке».

Впрочем, одной рукой делая вину медиков-мучителей более отчетливой, а страдания жертв медицинских экспериментов – более осязаемыми, оба «интеллектуальных свидетеля» из лагеря постмодернистских литераторов другой рукой возвращают едва забрезжившее «моральное свидетельство» обратно в

дискурсивную twilight zone. Так, вводя описываемые в романе медицинские эксцессы в широкий горизонт рационализма эпохи Модерна и инсценируя издевательства Карнау сотоварищи над подопытными именно как результат характерной для Модерна парадигмы медицины-как-власти, Байер фактически перелагает по крайней мере часть вины за преступления на пресловутый «дух эпохи». Тем самым он не только высвобождает жертв из логики и риторики нарратива, диктуемого медиком-преступником, но и парадоксальным образом воспроизводит лицемерную установку Карнау, который после поражения гитлеровской Германии решил изображать из себя жертву режима [13, с. 215], – ход, откровенно дискредитирующий подлинных жертв. Аналогичная по сути ситуация наблюдается и в «Детях Алиндарки» Бахаревича. На протяжении всего романа критикуя изобретенный Франциском Богушевичем национальный миф о Беларуси как «стране гнилых хаток и глупых, как ворона, мужиков» [1, с. 77] (ключевое слово – Мова), с одной стороны, и «языковой империализм» – с другой (ключевое слово – Язык), Бахаревич использует топос медицинских экспериментов на людях в качестве средства, позволяющего наглядно продемонстрировать условность границы между «карикатурным официальным патриотизмом» и «иронично описанным национализмом» [9], а также весьма сомнительную продуктивность стигматизации по лингвистическому признаку (и ее социального или хирургического «исправления»). Стоящая за этим «прямая аналогия с фашизмом» [9], однако, не подкрепляется в романе никакими указаниями на наличие исторической связи (или: преемственности) между лукашенковской Беларусью и нацистской Германией и потому нигде не выходит за рамки риторического приема, – в отличие от «Летучих собак» Байера, где тезис о наличии такой связи (и: преемственности) является отправной точкой повествования. Придавая дополнительную выразительность и объемность созданной Бахаревичем дистопии, подобная «аналогия» в то же время неизбежно редуцирует прототипную по отношению к действительным опытам Доктора и потенциальным опытам Отца медицину национал-социализма (и медицину Модерна в целом) до удобной метафоры, имеющей крайне мало общего с реальными практиками «медицины вне человечности» (Александр Митчерлих), а также страданиями тех, кому довелось испытать эти практики на себе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акудовіч Валянцін. Код адсутнасці (Асновы беларускай ментальнасці). — Мн.: Логвінаў, 2007.
2. Аляхновіч Францішак. У капцюрох ГПУ. — Мн.: Попурри, 2015.

3. Аляшкевіч Маргарыта. Улюбёная гульня. Беларускі постмадэрн — ці ёсьць ён? — <http://dziejaslou.by/old/www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/al5002ec.html?OpenDocument> (дата обращения — 10.02.2017 г.).
4. Бахарэвіч Альгерд: *Малая мэдычная энцыклапедыя Бахарэвіча*. — Мн.: Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2011.
5. Бахарэвіч Альгерд. *Дзеці Аліндаркі*. — Мн.: Галіяфы, 2014.
6. Бобренов Владимир. «Доктор Смерть», или Варсонофьевские призраки. М.: Олимп; АСТ, 1997.
7. Богданов К.А. *Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII-XIX веков*. — М.: ОГИ, 2005.
8. Мартысевіч Марыя. Няхай ніхто ня сыйдзе непакрыўджаным. Новы раман Бахарэвіча «Дзеці Аліндаркі». — <http://lohvinau.by/nyahay-nixto-ny-syydze-nepakryvdzhanym> (дата обращения — 05.02.2015 г.).
9. Рускевич Екатерина. *Литературный конструктор для детей Аліндаркі*. — <http://journalby.com/news/literaturnyy-konstruktor-dlya-detey-alindarki-364> (дата обращения — 10.02.2017 г.).
10. Фуко Мишель. *Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном году*. — СПб.: Наука, 2007.
11. Чертенко Олександр. «Летючі собаки» Марселя Баєра: ситуація мовлення // *Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України*. — К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. — С. 73-80.
12. Assmann Aleida. *Vier Grundtypen von Zeugenschaft // Elm Michael, Köbler Gottfried (Hrsg.) Zeugenschaft des Holocaust. Zwischen Trauma, Tradierung und Ermittlung*. — Frankfurt am Main: Campus, 2007. — S. 33-51.
13. Beyer Marcel. *Flughunde*. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
14. Benedict Barbara. *The mad scientist. The creation of a literary stereotype // Leitz Robert C., Cope Kevin L. (eds.) Imagining the sciences. Expressions of new knowledge in the 'long' eighteenth century*. — New York: AMS Press, 2004. — P. 59-107.
15. Bergmann Anna. *Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod*. — Berlin: Aufbau, 2004.
16. Beßlich Barbara. *Unzuverlässiges Erzählen im Dienst der Erinnerung. Perspektiven auf den Nationalsozialismus bei Maxim Biller, Marcel Beyer und Martin Walser // Beßlich Barbara, Graetz Katharina, Hildebrand Olaf (Hrsg.) Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in der deutschen Literatur nach 1989*. — Berlin: Erich Schmidt, 2006. — S. 35-52.
17. Blasberg Cornelia. *Zeugenschaft. Metamorphosen eines Diskurses und literarischen Dispositivs // Beßlich Barbara, Graetz Katharina, Hildebrand Olaf (Hrsg.) Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in der deutschen Literatur nach 1989*. — Berlin: Erich Schmidt, 2006. — S. 21-34.
18. Broders Simone. „A Serpent to Sting You“ — *The medical practitioner caught between curiosity and monstrosity // Lambert-Heidenreich Alexandra, Mildorf Jarmila (eds.) The writing cure. Literature and medicine in context*. — Wien; Zürich; Berlin: LIT, 2013. — Pp. 55-76.
19. Fischer Pascal. *Literature and medicine in Ian McEwan's „Saturday“ // Lambert-Heidenreich Alexandra, Mildorf Jarmila (eds.) The writing cure. Literature and medicine in context*. — Wien; Zürich; Berlin: LIT, 2013. — Pp. 95-111.
20. Griesecke Birgit, Krause Marcus, Pethes Nicolas, Sabisch Katja (Hrsg.). *Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert*. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.
21. Hartman Geoffrey. *Intellektuelle Zeugenschaft und die Shoah // Baer Ulrich (Hrsg.) «Niemand zeugt für den Zeugen». Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah*. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. — S. 35-53.
22. Helmchen Hanfried, Winau Rolf (Hrsg.). *Versuche mit Menschen in Medizin, Humanwissenschaft und Politik*. — Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1986.
23. Hirsch Marianne. *The generation of postmemory // Poetics Today*. — Spring 2008. — Vol. 29/1. — Pp. 103-128.

24. Huerkamp Claudia. Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert: Vom gelehrten Stand zum professionellen Experten: Das Beispiel Preußens. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.
25. Jäckle Renate. „Pflicht zur Gesundheit“ und „Ausmerze“. Medizin im Dienst des Regimes // Dachauer Hefte / Hrsg. von Wolfgang Benz und Barbara Distel. — Heft 4: Medizin im NS-Staat. Täter, Opfer, Handlanger. — München: dtv, 1993. — S. 59-77.
26. Klee Ernst. Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. — Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2001.
27. Kramer Sven. Die Folter in der Literatur. Ihre Darstellung in der deutschsprachigen Erzählprosa von 1740 bis «nach Auschwitz». — München: Wilhelm Fink, 2004.
28. Lafleur William R., Böhme Gernot, Shimazono Susumu (eds.). Dark medicine. Rationalizing unethical medical research. — Bloomington; Indianapolis: Indiana UP, 2007.
29. Mitscherlich Alexander, Mielke Fred (Hrsg.). Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. — Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1960.
30. Nitzschke Bernd. Sexualität und Männlichkeit. Zwischen Symbiosewunsch und Gewalt. — Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.
31. Pethes Nicolas. Terminal men: Biotechnological experimentation and the reshaping of „the human“ in medical thrillers // New Literary History. — Spring 2005. — Vol. 36, no. 2: Essays probing the boundaries of the human in science. — Pp. 161-185.
32. Pethes Nicolas. Dokumentationsversuche. Menschenexperimente in den Konzentrationslagern zwischen Archiv und Literatur // Griesecke Birgit, Krause Marcus, Pethes Nicolas, Sabisch Katja (Hrsg.). Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 320-339.
33. Pliske Roman. „Flughunde“. Ein Roman über Wissenschaft und Wahnsinn ohne Genie im „Dritten Reich“ // Rode Marc-Boris (Hrsg.). Auskünfte von und über Marcel Beyer. — Bamberg: Universitätsverlag, 2000. — S. 108-124.
34. Sabisch Katja. Einleitung zur Sektion 8: Vernichten // Pethes Nicolas, Griesecke Birgit, Krause Marcus, Sabisch Katja (Hrsg.). Menschenversuche: Eine Anthologie, 1750-2000. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. — S. 641-658.
35. Sabisch Katja. «Die Katastrophe, krank zu werden». Medizinische Experimente in den Krankenzimmern der nationalsozialistischen Konzentrationslager // Griesecke Birgit, Krause Markus, Pethes Nicolas, Sabisch Katja (Hrsg.). Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 297-319.
36. Scarry Elaine. Der Körper im Schmerz: Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur. — Frankfurt am Main: S. Fischer, 1992.
37. Schlich Thomas. Die Erfindung der Organtransplantation. Erfolg und Scheitern des chirurgischen Organersatzes (1880-1930). — Frankfurt am Main; New York: Campus, 1998.
38. Simon Ulrich. Assoziation und Authentizität. Warum Marcel Beyers „Flughunde“ auch ein Holocaust-Roman ist // Rode Marc-Boris (Hrsg.). Auskünfte von und über Marcel Beyer. — Bamberg: Universitätsverlag, 2003. — S. 126-145.
39. Sofsky Wolfgang. Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. — Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.
40. Tyradellis Daniel. Politik des Schmerzes // Blume Eugen, Hürlimann Annemarie, Schalke Thomas, Tyradellis Daniel (Hrsg.). Schmerz. Kunst + Wissenschaft. — Köln: DuMont, 2007. — S. 37-44.
41. Wöbkemeier Rita. Erzählte Krankheit. Medizinische und literarische Phantasien um 1800. — Stuttgart: J.B. Metzler, 1990.

TRANSLIT

1. Akudovich Valjancin. Kod adnutnasci (Asnovy belaruskaj mental'nasci). Minsk, 2007.
2. Aljahnovich Francisshak. U kapcjuroh GPU. Minsk, 2015.

3. Aljashkevich Margaryta. Uljubjonaja gul'nja. Belaruski postmadjern — ci jos'c' jon? — <http://dziejaslou.by/old/www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/al5002ec.html> OpenDocument (Date — 10.02.1017 г.).
4. Baharjevich Al'gerd: Malaja mjedychnaja jencykljapedyja Baharjevicha. Minsk, 2011.
5. Baharjevich Al'gerd. Dzeci Alindarki. Minsk, 2014.
6. Bobrenev Vladimir. «Doktor Smert'», ili Varsonofevskie prizraki. Moscow, 1997.
7. Bogdanov K.A. Vrach, pacienty, chitateli: Patograficheskie teksty russkoj kul'tury XVIII-XIX vekov. Moscow, 2005.
8. Martysevich Maryja. Njahaj nihto nja syjdzje nepakryŭdzhanym. Novy raman Baharjevicha "Dzeczy Alindarki". — <http://lohvinau.by/няхай-ніхто-ня-сыйдзе-непакрыўджаным> (Date — 05.02.2015 г.).
9. Ruskevich Ekaterina. Literaturnyj konstruktor dlja detej Alindarki. — <http://journalby.com/news/literaturnyj-konstruktor-dlja-detey-alindarki-364> (Date — 10.02.2017 г.).
10. Foucault Michel. Psihiatricheskaja vlast': Kurs lekcij, pročitannyh v Kollezhe de Frans v 1973-1974 uchebnom godu. Saint Petersburg, 2007.
11. Chertenko O Aleksandr. «Letjuchi sobaki» Marselja Baera: situacija movlennja // Literaturoznavchii obrji: Praci molodih uchenih Ukraïni. Kiev, 2014. — С. 73-80.
12. Assmann Aleida. Vier Grundtypen von Zeugenschaft // Elm Michael, Köbler Gottfried (Hrsg.) Zeugenschaft des Holocaust. Zwischen Trauma, Tradierung und Ermittlung. — Frankfurt am Main: Campus, 2007. — S. 33-51.
13. Beyer Marcel. Flughunde. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
14. Benedict Barbara. The mad scientist. The creation of a literary stereotype // Leitz Robert C., Cope Kevin L. (eds.). Imagining the sciences. Expressions of new knowledge in the 'long' eighteenth century. — New York: AMS Press, 2004. — P. 59-107.
15. Bergmann Anna. Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. — Berlin: Aufbau, 2004.
16. Beŭlich Barbara. Unzuverlässiges Erzählen im Dienst der Erinnerung. Perspektiven auf den Nationalsozialismus bei Maxim Biller, Marcel Beyer und Martin Walser // Beŭlich Barbara, Graetz Katharina, Hildebrand Olaf (Hrsg.). Wende des Erinnerens? Geschichtskonstruktionen in der deutschen Literatur nach 1989. — Berlin: Erich Schmidt, 2006. — S. 35-52.
17. Blasberg Cornelia. Zeugenschaft. Metamorphosen eines Diskurses und literarischen Dispositivs // Beŭlich Barbara, Graetz Katharina, Hildebrand Olaf (Hrsg.). Wende des Erinnerens? Geschichtskonstruktionen in der deutschen Literatur nach 1989. — Berlin: Erich Schmidt, 2006. — S. 21-34.
18. Broders Simone. „A Serpent to Sting You“ — The medical practitioner caught between curiosity and monstrosity // Lambert-Heidenreich Alexandra, Mildorf Jarmila (eds.). The writing cure. Literature and medicine in context. — Wien; Zürich; Berlin: LIT, 2013. — Pp. 55-76.
19. Fischer Pascal. Literature and medicine in Ian McEwan's „Saturday“ // Lambert-Heidenreich Alexandra, Mildorf Jarmila (eds.). The writing cure. Literature and medicine in context. — Wien; Zürich; Berlin: LIT, 2013. — Pp. 95-111.
20. Griesecke Birgit, Krause Marcus, Pethes Nicolas, Sabisch Katja (Hrsg.). Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.
21. Hartman Geoffrey. Intellektuelle Zeugenschaft und die Shoah // Baer Ulrich (Hrsg.). «Niemand zeugt für den Zeugen». Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. — S. 35-53.
22. Helmchen Hanfried, Winau Rolf (Hrsg.). Versuche mit Menschen in Medizin, Humanwissenschaft und Politik. — Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1986.
23. Hirsch Marianne. The generation of postmemory // Poetics Today. — Spring 2008. — Vol. 29/1. — Pp. 103-128.
24. Huerkamp Claudia. Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert: Vom gelehrten Stand zum professionellen Experten: Das Beispiel Preußens. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.

25. Jäckle Renate. „Pflicht zur Gesundheit“ und „Ausmerze“. *Medizin im Dienst des Regimes // Dachauer Hefte / Hrsg. von Wolfgang Benz und Barbara Distel. — Heft 4: Medizin im NS-Staat. Täter, Opfer, Handlanger. — München: dtv, 1993. — S. 59-77.*
26. Klee Ernst. *Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. — Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2001.*
27. Kramer Sven. *Die Folter in der Literatur. Ihre Darstellung in der deutschsprachigen Erzählprosa von 1740 bis «nach Auschwitz».* — München: Wilhelm Fink, 2004.
28. Lafleur William R., Böhme Gernot, Shimazono Susumu (eds.). *Dark medicine. Rationalizing unethical medical research. — Bloomington; Indianapolis: Indiana UP, 2007.*
29. Mitscherlich Alexander, Mielke Fred (Hrsg.). *Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. — Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1960.*
30. Nitzschke Bernd. *Sexualität und Männlichkeit. Zwischen Symbiosewunsch und Gewalt. — Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.*
31. Pethes Nicolas. *Terminal men: Biotechnological experimentation and the reshaping of „the human“ in medical thrillers // New Literary History. — Spring 2005. — Vol. 36, no. 2: Essays probing the boundaries of the human in science. — Pp. 161-185.*
32. Pethes Nicolas. *Dokumentationsversuche. Menschenexperimente in den Konzentrationslagern zwischen Archiv und Literatur // Griesecke Birgit, Krause Marcus, Pethes Nicolas, Sabisch Katja (Hrsg.). Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 320-339.*
33. Pliske Roman. „Flughunde“. Ein Roman über Wissenschaft und Wahnsinn ohne Genie im „Dritten Reich“ // Rode Marc-Boris (Hrsg.). *Auskünfte von und über Marcel Beyer. — Bamberg: Universitätsverlag, 2000. — S. 108-124.*
34. Sabisch Katja. *Einleitung zur Sektion 8: Vernichten // Pethes Nicolas, Griesecke Birgit, Krause Marcus, Sabisch Katja (Hrsg.). Menschenversuche: Eine Anthologie, 1750-2000. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. — S. 641-658.*
35. Sabisch Katja. «Die Katastrophe, krank zu werden». *Medizinische Experimente in den Krankenhäusern der nationalsozialistischen Konzentrationslager // Griesecke Birgit, Krause Markus, Pethes Nicolas, Sabisch Katja (Hrsg.). Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 297-319.*
36. Scarry Elaine. *Der Körper im Schmerz: Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur. — Frankfurt am Main: S. Fischer, 1992.*
37. Schlich Thomas. *Die Erfindung der Organtransplantation. Erfolg und Scheitern des chirurgischen Organersatzes (1880-1930). — Frankfurt am Main; New York: Campus, 1998.*
38. Simon Ulrich. *Assoziation und Authentizität. Warum Marcel Beyers „Flughunde“ auch ein Holocaust-Roman ist // Rode Marc-Boris (Hrsg.). Auskünfte von und über Marcel Beyer. — Bamberg: Universitätsverlag, 2003. — S. 126-145.*
39. Sofsky Wolfgang. *Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. — Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.*
40. Tyradellis Daniel. *Politik des Schmerzes // Blume Eugen, Hürlimann Annemarie, Schalke Thomas, Tyradellis Daniel (Hrsg.). Schmerz. Kunst + Wissenschaft. — Köln: DuMont, 2007. — S. 37-44.*
41. Wöbkemeier Rita. *Erzählte Krankheit. Medizinische und literarische Phantasien um 1800. — Stuttgart: J.B. Metzler, 1990.*